

ПУТЯМИ ИСТОГНУТЫХ СЛОВ

Биография Кафки изучена сейчас досконально, иные ее эпизоды расписаны чуть ли не по часам. Столь пристальный интерес исследователей к частной, а порой и интимной жизни писателя объясняется, надо думать, мрачной магией его искусства. Слишком уж велик соблазн разгадать смысл кафковских притч, видений и пророчеств по грустным линиям его судьбы, по невзгодам и превратностям его личного бытия. Подталкивают к этому и свидетельства самого Кафки, его письма и дневники, в которых он подчас дает подобным толкованиям поводы и пищу, недвусмысленно отождествляя себя с героями своих произведений. Однако слишком доверяться таким подсказкам все же не стоит: связи между жизнью Кафки и его творчеством куда сложнее и опосредованней.

Франц Кафка родился в 1883 году в Праге, в еврейской семье. Дом, где он появился на свет, уцелел до наших дней, он стоит в центре города, в двух шагах от знаменитой пражской ратуши, на самой границе бывшего еврейского гетто, частично снесенного, частично перестроенного на рубеже XIX и XX столетий, в пору юности писателя, и местоположение это как бы подчеркивает особую, межевую жизненную ситуацию Кафки, о которой так любят порассуждать исследователи: еврей по крови, чьим родным языком был, однако, немецкий, он жил в чешском городе подданным Австро-Венгерской империи и волею внешних обстоятельств как бы изначально был обречен на «изгойство». Думаю, тут есть все же момент преувеличения.

Уникально дарование Кафки, а вот обстоятельства его биографии скорее типичны — в Праге жили тысячи таких же семей, и факты не свидетельствуют о том, что писатель ощущал какую-то особую отторгнутость на почве, как сейчас принято говорить, «межнациональных отношений». Кстати, фамилия его — явно чешского происхождения (по-чешски она означает «галка»), родители свободно говорили по-чешски, да и сам Кафка в юности этому языку обучился. Отец Кафки, человек предприимчивый и энергичный, но с тяжелым характером, выбился из бедности своим трудом и основал в Праге собственную торговую фирму, став постепенно известным и уважаемым коммерсантом. Коммерция чуждается национальных предрассудков, так что вряд ли будущий писатель их на себе испытал. Зато он почти наверняка весьма остро и как бы изнутри ощутил зыбкую, ненадежную динамику буржуазного преуспеяния: отцовский магазин хоть и превращался в respectable предприятие, семья хоть и перебралась, несколько раз сменив место жительства, из скромной квартиры в шикарную, но за всеми этими переменами стоял иступленный труд, каждодневный коммерческий риск и вечная боязнь разорения.

Другой лейтмотив едва ли не всех жизнеописаний Кафки — его сложные, болезненные взаимоотношения с семьей, омраченные тиранией отца. Это действительно так, и Кафка подробно описал эту коллизию в своем «Письме отцу», будучи уже вполне взрослым, зрелым человеком. (Об атмосфере в семье красноречиво свидетельствует тот факт, что мать Кафки не решилась передать супругу сыновнее послание.) Но это еще не повод непременно отыскивать во всех произведениях Кафки следы и проявления фрейдистских комплексов. Подобные коллизии сплошь и рядом встречались в буржуазных семьях, они неоднократно, причем как раз в те времена, описаны и в

художественной литературе, в частности у Томаса Манна, которого Кафка, кстати, высоко ценил.

Старший сын в семье, Кафка рос довольно одиноким. Родители, постоянно занятые в магазине, передоверили воспитание сына гувернанткам, а дружбе с тремя младшими сестренками мешала разница в возрасте. Отец хотел видеть в сыне премника, определил его в лучшую пражскую гимназию, а потом и в университет. Однако ни склонностей, ни способностей к коммерции юноша не проявил и, получив диплом юриста, поступил на службу чиновником по страховому ведомству, где и проработал в скромных должностях до преждевременного — по болезни — выхода на пенсию в 1922 году.

Разлад с семьей, которую Кафка по-своему любил, но от которой страстно хотел — и не мог — отделиться, время от времени съезжая с родительской квартиры, чтобы потом снова вернуться под тяготивший его родительский кров, — видимо, был неизбежен. Интеллигент в первом поколении, Кафка был обречен на непонимание домочадцев. Они же — в особенности отец — со своей стороны не могли не видеть в нем неудачника. Строго говоря, по привычным буржуазным меркам он и был неудачником: карьеры не сделал, денег не скопил, домом и семьей не обзавелся.

Единственный смысл своего существования Кафка видел в писательстве, отдаваясь этому занятию всей душой, но урывками, в свободное от службы время, преимущественно в вечерние и ночные часы. Эту сокровенную сферу своего бытия он оберегал от посягательств любой ценой, в том числе и ценой личного счастья. Полагаю, именно в этом кроются первопричины трех его расторгнутых помолвок и сложных, подчас мучительных взаимоотношений с женщинами, которых он любил, но ради которых не решился сменить свой одинокий, холостяц-

кий, аскетический образ жизни на обустроенный семейный быт. С другой стороны, нельзя не заметить, что в сокровенную эту сферу он, зачастую неосознанно, прятал и вымещал действительно все, что хотел скрыть от посторонних глаз, в то же время вполне отдавая себе отчет: подобным образом он так ли, иначе ли пытается претворить в формах искусства свои страхи и фобии, все, что отказывается принять, познать и осознать разум. В одном из его писем об этом говорится с поразительной лапидарностью: «На тайном, торимом и творимом пути, по которому исторгаются из нас слова, на свет выходит самопознание» (из письма к Фелиции Бауэр, 18—19. 02. 1913).

В известном смысле его работа писателя шла наперекор всем устоям окружавшей его повседневности и требовала непомерного напряжения сил, так что, когда у него открылся туберкулез, он воспринял эту болезнь, в ту пору еще неизлечимую, чуть ли не с радостью: она давала избавление, освобождение от постылой службы, от напрасных родительских ожиданий и от обязательств перед близкими.

Умер Франц Кафка летом 1924 года в туберкулезном санатории под Веной. Родители, чья опека так тяготила писателя всю жизнь, похоронили его на родине, в Праге, на Ольшанском кладбище, и теперь их имена выбиты на скромном надгробье рядом с именем сына.

Всемирная слава нашла Кафку уже посмертно, при жизни он о ней вряд ли помышлял, хотя нельзя сказать, что как писатель он прозябал в полной безвестности. Литературная жизнь Праги вовсе не была провинциальной, на рубеже веков здесь зародилась самобытная литературная школа, подарившая миру столь разных художников слова, как Райнер Мария Рильке и Густав Мейринк, Франц Верфель и Макс Брод,

Франц Карл Вайскопф, Эгон Эрвин Киш и Луи Фюрнберг. Имя Кафки на этом фоне отнюдь не затерялось, его прижизненные публикации — семь тоненьких книжечек малой прозы — были замечены и удостоились весьма лестных откликов. Однако главные его творения — романы «Америка» (1912—1914), «Процесс» (1914—1915) и «Замок» (1921—1922) — остались в разной степени незавершенными и увидели свет лишь после смерти автора и вопреки его воле: Кафка недвусмысленно — хотя и не в строгой юридической форме — завещал своему другу Максу Броду все свои архивы уничтожить. Впрочем, как пронизательно подметил в свое время еще Вальтер Беньямин, сам выбор адресата для подобного завещания заставляет усомниться в его искренности, а значит, и неукоснительности. Как бы то ни было, исполнить последнюю волю друга у Брода, по счастью, рука не поднялась.

Ревнителю «жизнеутверждающего начала» в искусстве не устают склонять имя Кафки как пример «черного», «безысходного» пессимизма, полагая, вероятно, что худшего греха для художника придумать нельзя. Оглянемся, однако, еще раз на годы жизни писателя, переберем в памяти творения его современников. Много ли веселого в драмах Чехова? В романах Гамсуна? В стихах Рильке и Аполлинера? В новеллах Бунина и Куприна? В «Страшном мире» Блока? В «Буденброках» Томаса Манна? В «Городах-спрутах» Верхарна? В живописи Сезанна? В музыке Малера? Наконец, в искусстве экспрессионистов, что криком кричит о человеческом одиночестве и грядущем конце света?

Нетрудно убедиться, что в глубоком трагизме своего мировосприятия Кафка был среди современников отнюдь не одинок. И причины тут не в каких-то особых изломах его личной судьбы — тоже, конечно, не идилической, — а в изломах эпохи, в которую художник жил и стремился себя выразить.

Что же делать, если эпоха эта не располагала к оптимизму? Если в учебники она вошла как эпоха кризиса европейской цивилизации и первой в истории человечества мировой войны, эпоха кровавых и непредсказуемых в своих последствиях революций? Это была эпоха, в которой личность, как никогда прежде, ощутила себя песчинкой на ветрах истории. Гордые постулаты гуманизма, провозглашавшие человека мерой всех вещей, владыкой мира, способным преобразовать и обустроить окружающую жизнь по канонам истины, добра и красоты, не выдерживали проверки современностью, которая «предъявляла» человека совсем иным, без прикрас и иллюзий, во всей его незащищенности перед им же созданным обществом, во всей муке его одиночества, отторгнутости, унижений, во всей тщете его попыток спорить с жестоким и равнодушным веком. Так — или примерно так — ощущал свое время Кафка, и не один только он. Другой вопрос, что выразил он это ощущение по-своему, в манере, ни на кого не похожей.

Первое чувство, которое вызывает у читателя проза Кафки, — это чувство безотчетной тревоги. Не сразу осознаешь какой-то мучительный, непреодолимый разлад между этой ясной, полнозвучной, уверенной и стройной повествовательной речью — и миром, который она живописует. В ритмах повествующего голоса просто нельзя не услышать стремление к строгой, прозрачной легкости, к классической, едва ли не моцартовской гармонии, однако мир, столь выпукло и пластически зримо возникающий перед взором читателя, напоминает тягостный, вязкий кошмарный сон, где все вроде бы близко, знакомо, узнаваемо — и в то же время как бы сдвинуто со своих опор и лишено привычных, поддающихся разумному объяснению связей. Движение упругой, энергичной, летящей фразы подчинено неумолимой логике, а жизнь, этой фразой высвеченная, логическим категориям неподвластна и

бытует по каким-то своим таинственным и непостижимым законам. Диссонанс этот столь разителен, столь настойчиво акцентируется, что рано или поздно читатель все равно уловит в нем сквозную тему творчества Кафки и его стержневой, весьма болезненный конфликт. Это конфликт между созидательной волей художника — и мучительным, как зубная боль, беспорядком мироустройства.

Беды своего времени Кафка силой воображения как бы домысливал и доводил до логического конца, облекая их в плоть парадоксального художественного вымысла. Худшим своим страхам и тревогам он давал выкристаллизоваться в образах, быть может причудливых и странных, но и завораживающе убедительных, ибо в них неизменно сохранена и явственно ощутима их «генетика», их кровное родство с почвой реальной жизни, откуда они произросли. Связь с повседневной действительностью никогда не обрывается до конца, она закреплена традиционными художественными средствами реализма, которыми Кафка владел мастерски, — прежде всего пугающе наглядной словесной живописью, где удивительно точно, к тому же с изящной легкостью, воссоздаются и портрет, и быт, и пейзаж, одним штрихом «схватываются» повадка человека, его характер и социальный тип. Однако иллюзия достоверности распространяется и на безусловную правду жизни, и на игру воображения. Уравнивая в правах фантастику и реальность, Кафка создает картину мира, постоянно чреватого каким-то подвохом, неправильностью, опасным вывихом привычного, устойчивого и знакомого. Это образ непознаваемого, враждебного человеку бытия, где все удивительное естественно, а все естественное удивительно, где люди ощущают жизнь как ловушку и даже природа взирает на них холодно и зловеще.

Возьмем, к примеру, рассказ «Приговор», в котором загадки частных биографических обстоятельств более чем причудливо сплелись с загадками не вполне сфокусированного художественного обобщения. В основе рассказа — конфликт молодого коммерсанта Георга Бендемана с отцом, конфликт, имеющий в творчестве Кафки, как уже было сказано, глубокие и болезненные биографические корни. Однако с первых же строк внешне вполне достоверного повествования в его сюжет вкрадываются некоторые беспокоящие читателя странности, достигающие кульминации в ключевой сцене рассказа, когда дряхлый отец в мгновение ока из немощного, впадающего в детство старикашки преобразается в разгневанного титана. Скорее всего, в сокровенной сердцевине рассказа вовсе не какая-то зашифрованная, однозначно подающаяся пересказу «отгадка», а сама атмосфера неистового, всякую логику и всякий здравый смысл сметающего противостояния отца и сына, в котором бушуют первобытные, уходящие в доисторическую глубь человеческого естества инстинкты родства и насилия, ненависти и любви, отторжения и приязни, — противостояния, в котором разум и человечность (так, по крайней мере, ощущал это Кафка) всегда и заведомо обречены на поражение.

Своеобразной эмблемой творчества писателя стала новелла «Превращение». Повествуется в ней о том, как человек переродился в насекомое. Образ человека-насекомого сам по себе — не более чем устойчивая метафора социальной ничтожности. Под пером Кафки, однако, метафора художественно реализуется, раскрывая все глубины своего жуткого смысла в картинах поразительной явности, причем невероятное и обыденное соседствуют настолько равноправно и привычно, что читатель поневоле содрогается от ужаса. Сюжет явно и осознанно перекликается с сюжетами волшебных сказок, где сила

любви торжествует над злыми чарами и расколдовывает самые заклятые превращения. У Кафки все иначе: чудо зла состоялось, а вот чуда любви мы так и не дождемся, и в конечном счете Грегор Замза гибнет не оттого, что превратился в таракана, а от нелюбви ближних своих. Он, собственно, может, потому и перестал быть человеком, что ни на что человеческое вокруг него попросту нет спроса.

Недаром, конечно, одна из ключевых, наиболее часто встречающихся ситуаций в прозе Кафки — ситуация заблудившегося человека. Это еще один мотив, который роднит его поэтику с поэтикой сказки. Но если сказочные герои блуждают в дремучем лесу, символизирующем первичный хаос мироздания, то у Кафки они теряются в рукотворных лабиринтах человеческой цивилизации — в переулках и дворах большого города, в недрах гигантского корабля, в коридорах и закутках нескончаемых многоэтажных зданий. Внешняя геометрическая правильность этих сооружений обманчива, стоит свернуть за угол, отворить какую-нибудь неприметную дверцу, и человек вступает все в тот же первобытный хаос, где хищник поджидает добычу, сильный унижает слабого, палач истязает жертву. Взывать здесь к Разуму, уповать на Закон и Справедливость столь же бессмысленно, как спорить с ураганом или землетрясением.

Великий и прилежный ученик Достоевского — хотя в не меньшей мере и Гоголя, — Кафка конечно же знал очевидные пороки современного ему общества. Были ведомы ему и гримасы социального неравенства, и уродливые контрасты роскоши и нищеты. Но природа его таланта такова, что знакомые, понятные, уже освоенные искусством проблемы общественно-го бытия занимали его лишь постольку, поскольку они соприкасались с другими, еще не познанными и не разгаданными.

Он мучительно пытался понять, почему, по какому злому наущению человечество из века в век воспроизводит структуры власти, порабащивающие и сковывающие личность? Почему в этих структурах, сколь бы изошренными и цивилизованными они ни казались, всякий раз отражаются древнейшие, чуть ли не от фараонов египетских, формы самого примитивного рабства? Почему «маленький человек», которому так любит сострадать мировая литература, безропотно терпит установленную над ним власть, хотя власть эта вершит лишь беззаконие и несправедливость? Почему, безнадежно этой преступной властью униженный, он находит радость в унижении себе подобных? Почему при малейшей возможности, и отнюдь не всегда ради денег, он идет этой власти на службу, с наслаждением меняя роль жертвы на роль палача? Почему, наконец, сам соблазн власти — пусть даже это ничтожная в нескончаемой пирамиде общественного насилия власть привратника над просителем, стражника над арестантом — столь необорим, что человек, не в силах ему противостоять, мгновенно забывает в себе все человеческое?

Подданный Австро-Венгерской империи, скромный пражский чиновник и большой писатель Франц Кафка сумел сформулировать эти вопросы прежде, чем их со всей грозной непреклонностью поставила перед человечеством суровая история XX столетия. В свете современного опыта трудно предположить, что искусство Кафки в обозримом будущем утратит свою актуальность.

М.Рудницкий